

Саша Чёрный

# Иероглифы



*Часть сборника  
Избранная проза*



# Саша Чёрный

## Иероглифы

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=4986645](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4986645)*

*Избранная проза: Эксмо; Москва; 2005*

*ISBN 5-699-14284-3*

### Аннотация

«Раз в месяц Павел Федорович приходил в тихое отчаяние: письменный стол переполнялся. Над столом, правда, висели крючки для почтовых квитанций, писем, на которые надо было ответить, заметок «что надо сделать», – но и крючки не помогали. Они тоже переполнялись и по временам становились похожими на бумажные метелки, которыми рахат-лукумные греки сгоняют на юге мух с плодов. Фарфоровая памятная дощечка, лежавшая на столе, носила на себе следы по крайней мере шести наслоений графита, стойки для бумаг не вмещали уже ни одной новой открытки и упорно выжимали из себя растрепанные бумажные углы; из бокала для карандашей торчали самые посторонние бокалу предметы: палочка для набивания папирос, длинные ножницы, кусок багета от расколовшейся год назад рамки, пробирка из-под ванили... Ужасно!..»

# Саша Чёрный

## Иероглифы

*(Неюмористический рассказ)*

Раз в месяц Павел Федорович приходил в тихое отчаяние: письменный стол переполнялся. Над столом, правда, висели крючки для почтовых квитанций, писем, на которые надо было ответить, записок «что надо сделать», – но и крючки не помогали. Они тоже переполнялись и по временам становились похожими на бумажные метелки, которыми рахат-лукмные греки сгоняют на юге мух с плодов. Фарфоровая памятная дощечка, лежавшая на столе, носила на себе следы по крайней мере шести наслоений графита, стойки для бумаг не вмещали уже ни одной новой открытки и упорно выжимали из себя растрепанные бумажные углы; из бокала для карандашей торчали самые посторонние бокалу предметы: палочка для набивания папирос, длинные ножницы, кусок багета от расколовшейся год назад рамки, пробирка из-под ванили... Ужасно!

Все лишнее Павел Федорович давно с сердечной болью убрал со стола: люцернского льва, бронзового барона, купленного на аукционе, японское карликовое дерево – и прочие соблазнительные предметы, которые только отвлекали внимание и загружали стол. Но и это не помогало: само со-

бой случалось так, что все вещи, попадавшие на стол, когда они были нужны, так и застревали на нем.

Особенно книги. Это были положительно какие-то ленивые животные. Немецкий словарь Павловского, например, третий месяц лежал на столе, как отдыхающий в иле бегемот, и только изредка передвигался с правого угла в левый. Библия по временам перебиралась на кресло, стоявшее сбоку, но приходил гость и садился в кресло, – куда ей было деваться? А стол стоял рядом... Еще больше огорчений доставлял энциклопедический словарь – он приходил гораздо чаще, чем уходил, и всегда целой артелью, так что иногда к вечеру бедный любознательный Павел Федорович не мог из-за него добраться до чернилницы. Но наглее всего были газеты. Когда их приносил почтальон, они имели вполне приличный вид – узенькие, плотненькие, перетянутые вокруг талии бандеролью, они умещались даже в боковом кармане, – но стоило развернуть одну-другую, и на столе воцарялся хаос. Развернутые листы комкались и не хотели складываться по швам, вырезанные заметки лезли под руки и смешивались со старыми... Даже корзинка для бумаг не помогала: две, три газеты набивали ее сразу доверху и упрямо сбрасывали на пол все, что ни клали им на голову. Ужасно, ужасно!

В ящиках было не лучше. Павел Федорович был человек разносторонний и, кроме того, крепко цеплялся за свое прошлое, как почти все одинокие взрослые люди. Если бы некоторые письма и разные странные пустяки (итальянские моне-

ты, гимназический герб, кусок восковой свечи и пр.) исчезли из его письменного стола, – он бы почувствовал себя совсем неуютно на земном шаре и в значительной степени утратил бы самое чувство прошлого... Конечно, это было смешно и нелепо, – но что делать? – настоящее Павла Федоровича было несложно, как гвоздь: утром кофе и булка, утренние газеты, чай, работа и мертвый сон до следующего утра. Будущее же ему всегда смутно рисовалось в образе веревочного хвостика от колбасы, которую дорезали до самого конца.

В ящиках, конечно, были и необходимые вещи, – например, каталоги книг с тщательными отметками, какие книги надо приобрести в первую очередь, какие во вторую. Но и каталогов этих накопилось гораздо больше, чем было нужно: денег на покупку книг не хватало, а если и случались, то всегда подвертывались какие-нибудь дырявые галоши. Земное побеждало небесное; книги так и оставались отмеченными для покупки, а каталоги продолжали желтеть в ящиках; тем временем выходили новые каталоги, Павел Федорович опять отмечал – и так много лет.

В один из таких приступов отчаяния, – когда стол был переполнен внутри и снаружи, а Павел Федорович с омраченным злобой и тупой беспомощностью лицом уже в двадцатый раз выдвигал с грохотом ящик за ящиком в поисках почтовой бумаги и транспаранта, – в один из таких приступов Павел Федорович встал, прошелся по комнате, снял воротничок и сказал «уф!». Потом мотнул головой и опять присел

к столу с железным решением разобрать стол до последней промокашки и выбросить весь «хлам» без всякого сожаления.

Если писать «юмористический рассказ», то все дальнейшее можно было бы разыграть по двум трафаретам. Трафарет номер первый: Павел Федорович в порыве увлечения выбрасывает хлам и даже приказывает слуге отнести его, во избежание соблазна, на помойку. Затем ночью, охваченный комическим раскаянием, пробирается в одной рубашке с фонарем к помойной яме, разрывает ее и выбирает свои нелепые сувениры из груды картофельной и яичной шелухи. Можно прибавить и дворника, который принимает его за вора, ловит, тащит в участок и т. д.

Трафарет номер второй: Павел Федорович не выбрасывает своего хлама. В таком случае можно очень забавно – «непрерывный смех!» – изобразить борьбу между принятым решением и воспоминаниями, связанными со старым ключом, кусочком сургуча, письмом от веселой вдовы, украшавшей юность, и прочей трухой, засоряющей ящички. Закончить можно так: под утро прислуга вымела холодного Павла Федоровича вместе с засыпавшим его, как Везувий Помпею, хламом, который он разбирал на ковре.

Но, так как рассказ не юмористический, – то придется пожертвовать всеми этими прекрасными подробностями и скромно вышивать по невзрачной канве действительности.

В углу нижнего ящичка, под грудой писчей бумаги и деше-

вых гравюр, Павлу Федоровичу попала в руки неожиданная находка: толстая, так называемая «общая» тетрадь. Наклейки не было, – вместо нее за прорезанной в черной колленкоровой обложке решеткой чернела тщательно нарисованная печатными буквами надпись «Каторжные работы». Павел Федорович улыбнулся и с любопытством взял тетрадь в руки. Как она к нему попала и что в ней? Он раскрыл ее и сразу узнал собственный гимназический почерк, еще расхлябанный, жидкий, но уже со всеми особенностями почерка взрослого человека, державшего тетрадь в руках.

На первой, раскрытой наугад, странице было написано:

«Dum, priusquam, antequam – с изъявительным наклоном, если придаточное отвечает на вопрос когда, в какое время».

Павел Федорович удивленно откинулся в кресле и стал припоминать. Что бы это могло значить?.. Но в памяти всплыли только изящные серые брюки молодого латиниста из филологического института и его поза, когда он спрашивал обреченную жертву у парты, поставив с изысканной грацией ногу на скамью.

Следующая страница еще больше озадачила, хотя почерк был опять его – Павла Федоровича.

«Пределом называется та постоянная величина, к которой стремится переменная, так что разность между ними всегда остается меньше какой угодно малой величины». И дальше: «Бесконечно малая есть переменная, предел которой равен

нулю».

Павел Федорович представил себе бесконечный ряд мух, которые должны были бесконечно уменьшаться справа налево и стремиться к нулю. Но так как разность между двумя соседними мухами оставалась «меньше какой угодно малой величины», то мухи нисколько не уменьшались и были все одинакового роста.

Он плюнул и сердито перевернул несколько страниц.

«К пятнице повторить до Готфрида Бульонского». В этой фразе, напоминавшей шараду на малознакомом языке, только слово «Бульонский» вызвало знакомый гастрономический образ. Буква «Г» лежала тут же на столе. Павел Федорович развернул 17-й полutom энциклопедического словаря и прочел:

«Готфрид Бульонский – герцог Нижней Лотарингии, родился ок. 1060 г., старший сын графа Евстафия II Бульонского и Иды, сестры Готфрида Горбатого, герцога Нижней Лотарингии, которому он и наследовал в управлении государством».

Дальше в таком же роде полтора столбца петита и подпись – Е. Щепкин.

Павел Федорович уныло вздохнул и, охваченный бессознательным любопытством, достал последний полutom, в котором помещены фотографии всех составителей словаря. Е. Щепкин был в самом конце, звали его полностью: проф. Евгений Николаевич Щепкин. Лицо – круглое и добродушное,



лоб переходил на лысину, воротничок прямой, стоячий, каких уже никто, кроме пасторов и некоторых профессоров, не носит.

После Готфрида Бульонского в общей тетради замелькал ряд страниц еще более непонятных. Буквы почему-то были латинские, особенно часто повторялись *x*, *y*, *z*. Одни буквы были в круглых скобках, другие, словно в корсете, в фигурных, вверху справа у многих букв стояли крохотные цифры. Кое-где буквы и цифры лежали друг на друге, в два этажа, а между ними черта. Кое-где, как большие и маленькие верблюды, торчали знаки радикалов.

«Алгебра... – горестно подумал Павел Федорович. – Алгебра...»

Ему вспомнилось с необычайной остротой то чувство холодного ужаса и обреченности на письменных работах, когда до звонка оставалось полминуты. Часть задачи списана, часть решена, а тощий, как вобла, математик стоит над партой и двумя пальцами тянет к себе тетрадку: «Довольно-с, отдохните-с»...

Но значение странных знаков оставалось темным. Не верилось даже, что его пальцы выводили когда-то все эти черточки и завитушки.

Новые раскопки в тетради открыли целые залежи греческих фраз – кудрявых, с ударениями и придыханиями, – таинственных, как звездная карта.

Ниже была приписка: «В четверг *extempore*! Повторить

aoristus I passivi глаголов чистых и немых (чтоб они лопнули!)».

Слова в скобках вызвали сочувственную улыбку, остальное – увы... Напрасно Павел Федорович покорно и кротко повторял про себя:

«Aoristus I passivi глаголов чистых и немых». Память не только ничего не подсказывала, но сбила его с толку, неожиданно подсунув давно забытый детский счет:

«Унэ-дери-трикандери, сахар-махар-помадери, аз-баз-трибабаз, бес-бедович-кислый квас...»

Вслед за этим опять мелькнул знакомый образ. Маленький, рыжий, всклокоченный «грек» стоял у окна спиной к классу и равнодушным голосом цедил:

«Господа, не списывайте дословно. У кого одинаковые ошибки – кол».

«Дай бог ему здоровья! – вздохнул Павел Федорович и задумался. – Попадают же и между ними люди...»

Наконец в конце тетради он, к искреннему своему удовольствию, нашел отрывок, в котором хоть что-нибудь можно было понять. Это был черновик домашнего сочинения «Герои у древних», из которого ясно было видно, что «герой совершает то, на что окружающие совершенно неспособны, – вот главная причина признания его героизма и удивления перед ним».

Одно место заставило даже Павла Федоровича на мгновение полюбоваться смелым полетом своей гимназической

мысли:

«Если во время пожара какой-нибудь человек из толпы бросится в огонь и спасет чужую жизнь, мы назовем его героем, если же то же самое совершит пожарный, оценка наша значительно понизится. Чем это объясняется? Тем, что есть профессии, в которых человек как бы обязан всегда быть героем, причем благодаря повторению героизма ему уже никто не удивляется».

Впрочем, все это место пересекала жирная черта, а сбоку стоял унылый вопросительный знак и собственноручная резолюция: «Не на тему. Ослы».

Павел Федорович медленно закрыл тетрадь, откинулся в кресле и закрыл глаза. Было очень досадно. Вспомнились четверти, унижительный торг с латинистом, в коридоре после урока, о тройке с минусом, которая должна была обеспечить тройку в годовом, подсчитывание на бумажке отметок (сколько в среднем?), ответы «на поправку» в конце четвертей, списывание на промокашках греческих экстемпоралей, – весь мутный чад гимназической повинности, мелких обманов и никогда не затихающей напряженности и тревоги.

Особенно ярко всплыла темная жуткая полоса экзаменационных дней, – дней «подготовки», конспектов, шпаргалок, часов ожидания, пока очередь дойдет до твоей фамилии, и ужасных минут, словно перед эшафотом, – минут обдумывания своего билета...

Даже теперь, при одном воспоминании, Павел Федорович

поймал себя на смутной радостной мысли: слава Богу, у него уже ни одного экзамена в жизни не будет.

Он покосился на общую тетрадь и вздохнул: однако разве сегодня это не был экзамен? И какой зверский провал! Словно его подвели к доске, испещренной ассирийской клинописью – ни звука!

Досада все росла. «Столько лет, столько лет...» Но, может быть, он только забыл, может быть, другие, у кого память лучше и кто хорошо учился, помнят?.. Он встал, подошел к стене и постучал:

– Иван Иванович, вы дома?

– Алло! – раздалось из-за стены.

– Можно вас потревожить?..

Иван Иванович, квартирный хозяин, – служил в банке, разбирался в любом вопросе в течение пяти минут и считал себя вторым после Шопенгауэра умным человеком на свете.

– Здравствуйте. В чем дело?

– Вы хорошо учились в гимназии?

– Серебряная медаль.

– Ого! Присядьте на минуту, – Павел Федорович снял с кресла Библию и переложил ее на стол. – Ответьте мне, пожалуйста, на несколько вопросов, только не перебивайте и не удивляйтесь...

– С удовольствием. – Иван Иванович с недоумением покосился на жильца, но потом вспомнил, что получил с него позавчера за месяц вперед, и успокоился.

– У вас память хорошая?

– Nec plus ultra.

– Прекрасно. Скажите, – Павел Федорович незаметно заглянул в тетрадь, – где находится центр тяжести конуса?

Иван Иванович резко повернул голову к жильцу, пожевал губами и изумленно спросил:

– Что это вы, Павел Федорович?

– Ничего. Совершенно здоров-с. Так где центр тяжести конуса?

– Не знаю...

– Так, – Павел Федорович перевернул под столом несколько страниц. – Кто такой Лука Жидята?

– Лука Жидята?

– Да, Лука Жидята. Феодосий Печерский? Илларион?

– Гм... Это что-то такое из словесности.

– Совершенно верно: «что-то такое из словесности». Так. Что вы можете сказать о perfectum и plusquamperfectum medii глаголов немых с подъемом коренной гласной?

– Не знаю, – вопросительно улыбаясь, ответил квартирный хозяин, смутно догадываясь, в чем дело.

– А, не зна-е-те? – Павел Федорович вошел в свою роль и повысил голос. – Серебряная медаль... Отлично-с! Нарисуйте мне графическое изображение зависимости между временем и скоростью для различного рода движений...

– Извините, у меня болит голова. Позвольте выйти! – Иван Иванович вскочил и дурашливо поднял руку.

– Выйти? А не угодно ли вам, милостивый государь, предварительно перевести: «Гомер на-зы-ва-ет Ферсита бе-зо-бразнейшим из гре-ков». Словарь на полке; сроку полчаса. Ну-с!

– Позвольте выйти! – завопил Иван Иванович, но не выдержал и захохотал, как индюк.

Павел Федорович протянул ему общую тетрадь и криво усмехнулся.

– Кол. Садитесь. Смешно, не правда ли? Вот, находку сделал, полюбуйте!

Иван Иванович вежливо перелистал тетрадь и пожал плечами.

– Ах, вот что... Чем же тут любоваться? Дело известное.

– Известное, да не очень. Вы вот ни аза не помните.

– Зачем же мне, собственно, помнить?

– А зачем в нас столько лет вгоняли все это?

– Ерунда. Нашли о чем беспокоиться...

Иван Иванович снисходительно посмотрел на жильца и прищурил глаза.

– Болеют же все корью, – ну и это как корь. Кроме того, полезно для общего развития.

«Очень ты развит!» – подумал Павел Федорович, но вслух этого не сказал.

– Восемь лет – корь? Хорошо-с... Может быть, брата вашего позвать, может быть, он помнит?

Иван Иванович отрицательно помотал головой.

– Отнюдь. Рецепт напишет с родительным падежом, как полагается, ибо это по его специальности. А насчет остального, – как мы с вами: пас.

– Н-да...

– Да вы плюньте... Вот тоже, есть о чем! Комик... Приходите лучше чай пить, – сегодня баранки, а? – Иван Иванович насмешливо оглядел понурую недовольную фигуру жильца, эластично проплыл через комнату и мягко притворил за собой дверь.

От тетради, конечно, не трудно было отделаться. Дрова только что перегорели, по алым жарким углям перебежали сизые мотыльки: брось хоть лед, и тот бы, казалось, вспыхнул. Но Павел Федорович медлил...

Год за годом надо было мужественно бороться со сладким утренним сном, который словно клейстером склеивал веки, глотать, обжигаясь, горячий чай, одним глазом пробегающая выветрившихся за ночь из головы «сыновей Калиты» или «брак с Софьей Палеолог и его последствия», другим следя, с замиранием сердца, за минутной стрелкой. Сколько раз он бросал с тоской недоеденный бублик и мчался, как призовая лошадь к столбу, в гимназию, ежась от холода, ощущая за спиной громыхающий ранец – и в нем то нерешенную задачу, то неоконченный перевод, то еще что-нибудь такое – мучительное, как фальшивый вексель, который не сегодня-завтра предъявят ко взысканию. И вот все, что осталось... Он свернул тетрадь в трубку.

А еще раньше, когда он был совсем маленьким?.. Когда длинное форменное пальто «на рост» заметало пыль и собиралось внизу в толстые подвертывающиеся кверху складки... Сколько их по всей России мчалось таких же, как он, – маленьких, стриженных, круглоголовых, набитых деепричастиями, избиениями филистимлян, суффиксами, префиксами, четвертым склонением на us и еще черт знает чем... И главное, и главное – не опоздать на «Преблагий Господи»!

«Преблагий Господи...» «Как же дальше?» Павел Федорович напряженно посмотрел в потолок, но ничего, кроме окончания молитвы, не вспомнил: «и продолжения учения сего». И сейчас же машинально всплыл вариант этой фразы, который почти все они тогда с огромным упорством и чувством полусшепотом повторяли про себя: «и прекращение учения сего». Веселый вариант!..

«Для общего развития». Черти! Прожили тысячелетия и хорошей школы не удосужились создать... Девяносто взрослых из ста складно письма написать не умеют, говорят и читают, как косноязычные попугаи... Колоса ржи от колоса пшеницы не отличат...

Павел Федорович очнулся. Все это было так понятно, «так старо»... и так, для него по крайней мере, непоправимо.

Угли в печке затянулись пеплом, – надо было спешить. Он присел на корточки, рванул «общую тетрадь» вдоль корешка, бросил две половинки в печь и дунул в растрепанные страницы. Вспыхнул веселый огонь, заметались перед



глазами радикалы и греческие вокабулы, мелькнули «герои в древности», – и широкое светлое пламя разлилось по всей тетради.

Павел Федорович встал, побил для уверенности завихрившийся черный комок кочергой, прикрыл дверцу, умыл руки и пошел пить чай.